

БЕССОННИЦА ДВОИХ

Вечером, в канун 9 мая, купил я в уличном киоске роман-газету с новой поэмой Твардовского «За далью даль». Обрадовался, что успел: ее брали нарасхват. Тогда, в 1961 году, учился я в Москве, на Высших литературных курсах, а Василий Белов — в Литературном институте, и жили мы в одном общежитии. Подружились-то давно, еще в Вологде, на совещаниях молодых авторов, которыми заботливо руководили Александр Яшин и два Сергея — Викулов и Орлов. К ним в помощь приезжали иногда Константин Коничев, Валерий Дементьев, Михаил Дудин, Сергей Марков... Те литературные сборы молодых дарований достойны упоминания в летописи Вологды. Событийность их несомненна и доказана временем: что в Вологде пишется, то и в Москве слышится.

...Когда я показал Васе «За далью даль» Твардовского, он обрадовался, запотирал ладонью свой высокий лоб — знак назревающего поступка. И вот слышу: «Пойдем к тебе. У меня, видишь, проходной двор».

Да, он жил в трехместной студенческой комнате. Дверь хлопала поминутно. А на Высших курсах предоставлялось по комнате каждому слушателю. Но прежде чем подняться на мой шестой этаж, мы спустились на первый. Мы рассуждали так: уже вечер, канун Дня Победы, сбегает в магазин за едой и водкой и тогда, запершись, начнем вслух читать «За далью даль». Так и сделали.

Огромная поэма заманивала в себя не столько своим простором, сколько ожидаемой от нее мерой правды. Ведь она — правда-матка, закопана на Руси глубоко и добыть ее нелегко. На честное обозрение добывается она помалу, по одной горсточке, а то и по одному зернышку-отколышу. И лишь редкие и отважные творцы, как Твардовский — тоже не всегда, ох, не всегда! — выворачивали на свет Божий ее тяжкие пласты.

*И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой.
С ее терпеньем безнадежным,*

*С ее избою без сеней,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью — не полной...*

Да это же все — и про наших матерей: про Васину Анфису Ивановну и про мою Александру Ивановну. Слезы жгуче вскипали в наших глазах. Речевая подлинность поэмы воспринималась настолько живо, что мы и не замечали стихотворной основы. Похожее волнение испытывали в своем отрочестве, в нашу деревенскую бытность, когда кто-нибудь из бывалых людей рассказывал до полуночи о своих скитаниях и страданиях.

*Мы все — почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли.
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели...*

— Неправда! — вдруг вскакивает Белов. — Помнили прадедов! И до четвертого колена дотягивались...

И тут я припоминаю, как мать рассказывала мне не только о своем деде Евгении, а упоминала и отчество его — Федорович. Выходит, Федор был ее прадедом, а мне — уже прапрадедом...

— А в каком же колене нашего родства было больше счастья? — вслух задумываюсь я. И Вася хмурится, внутренним оком пробиваясь в минувшее.

— Никто этого не скажет, — отзывается он. — А только видится мне, что прапрадеды наши жили разумней и счастливей нас. За родную землю крепко держались!..

— Да, — соглашаюсь я. — Нас утопили в политике и разорили до нищеты. Вон кукурузу на ржаные поля сеум... Зачем? Кому это надо?...

— Правители у нас чужие, — мрачнеет мой друг и глядит в черное ночное окно.

— Вот Александр Трифонович хвалит и выгораживает Сталина, а ведь при нем за ржаные колоски баб сажали в тюрьмы. Вдов горемычных, многодетных...

— Сталин-то был не чужой, — говорю я.

— Да и не свой!... Ну, поехали дальше, — теперь уже Вася берется за поэму, а я слушаю его чуть картавый и напористый голос.

*...И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал.*

И вновь общежитская комната превращается в покачивающийся вагон дальнего следования. И сам Твардовский будто бы сидел поблизости от нас, сурово молчал и нервно курил. И то, о чем он думал, поочередно озвучивалось нами...

Да, Твардовский слово свое «вынул из-под спуда» и развернул из глубины времен и пространств образ движущейся России. Все на Восток, все на Восток... Неужели он предчувствовал, что спустя всего тридцать лет Россия будет так мученически унижена и чужой волей откинута от своих западных границ к Тихому океану? Нет, не мог он предчувствовать такого отброса России из двадцатого века в чуть ли не семнадцатый век...

И мы с Василием Беловым в ту бессонную ночь, прочитав вслух всю «За далью даль», вышли 9 мая 1961 года в утреннюю рань Москвы. Уже слышалась музыка. Тогда народ еще гордился своей Великой Победой...

ИДЕТ ТВАРДОВСКИЙ!..

В перерыве того писательского съезда, проходившего на второй день в Колонном зале Дома Союзов (открытие состоялось в Большом Кремлевском дворце), мы с Василием Беловым вышли в просторное фойе, празднично кипевшее многолюдьем, и уединились подальше, у тихого окна. Спорить или что-то обсуждать, даже пить вино (а буфеты зазывали вовсю) не хотелось. И потянуло в двадцатиминутный перерыв просто постоять у окна. И вот стоим да поглядываем на возбужденный делегатский гомон. И вдруг Белов тычет в бок:

— Твардовский идет!

Я невольно вздрогнул. Лицо охватило жаром. Изда-лека не раз я видел его в президиумах прежних писательских съездов. Но всегда чем напряженнее силился рассмотреть, тем смутнее различал его. А в душе моей все равно сияла тихая радость, что он здесь. И вдруг — идет! Взглядом кинулся туда-сюда... Не вижу!

— Да вон, справа, — Вася качнул головой в ту сторону и враз посвежел лицом и взглядом. Тут и я увидел его. Когда-то мы читали всю ночь его «За далью даль»...

Твардовский шел одиноко. Вокруг суетилось шумное многолюдье, а он, не соприкасаясь, шел сквозь него. Этот людской коридорчик возникал будто бы сам по себе. И он, сузив плечи наперед и зорко склонив голову, шел по нему несуетной поступью. В матерой его статности сквозила будто бы мужиковатость, а повернулся вдруг лицом — генерал! Одутловато узкие щеки, нахмуренный лоб с высоким зачесом волос. И всевидящие, глубоко горящие глаза...

Вася, слышу, взволновался:

— К нам идет!

Смотрю: Твардовский, заметив Белова, круто вывернул из многолюдья. От такой нечаянной радости я прямо-таки оторопел.

*...Когда пройдешь
Путем колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как хлеб хорош,
Как радостен ночлег...*

Эти строки вдруг вспыхнули во мне, и вдруг увидел я себя одиннадцатилетним мальчиком. Мама, потемневшая ликом, молча прядет куделю: уже второй месяц ждет с фронта отцовское письмо. Вся изревелась. А я возле настольной лампы читаю ей вот это стихотворение из нашей районной газетки. Конечно, перепечатанное откуда-то, но тогда я этого не понимал. А вот имя — Александр Твардовский — с той поры, с той газетки и запало мне в душу навек...

И вот он уже рядом. Он подает руку Белову, затем Вася знакомит его со мной (в «Новом мире» было напечатано мое стихотворение «Домашняя хозяйка»), и я чувствую его мужицкое рукопожатие.

— Все жалею, что «Привычное дело» напечатал ты не в «Новом мире», — вдруг с неожиданным перескоком сказал Александр Трифонович.

— Тогда-то я был рад — перерад, что «Север» напечатал, — оживился Василий Иванович. — Ведь пришлось пойти на обман цензуры, указать, что продолжение повести вот-вот последует...

— «Плотницкие рассказы» тоже хороши, — Твардовский коснулся беловского плеча. — Спасибо, что отдал нам... И, прощально улыбнувшись, пошел своим путем...

СВЯТОЕ ПРОВИДЕНИЕ

В теперешней жизни без дружбы пропадешь, загнешь. Я рад, что живу по соседству с Василием Беловым. С ним можно одолеть духовную немочь: в нем мысль отважная и правда зоркая... Заходит как-то ко мне, вернувшись из Москвы, усталый и разгневанный правительственной политикой. И говорит, что завтра уедет в свою Тимонию — хоть неделю подышать родиной. Может, удастся успокоиться и завершить подготовку собрания сочинений в пяти томах.

— Пойдем, побродим по Вологде, — говорит он. — Поклонимся святой Софии и Батюшкову... И мы двинулись к золотисто-белому сиянию соборов, под благословение вековых крестов.

— Знаешь, — оживился Василий Иванович, словно бы вдруг помолодел, — а Вологда наша хороша!.. Много повидал я великих городов: Париж и Рим, Лондон и Токио, Нью-Йорк и Вашингтон... Мировые столицы! В них открывались красоты и чуда, а вот радость жизни для меня — только в Вологде. Да-да, вот в этой самой березовой свежести, возле этих кремлевских стен, или на речном откосе, любясь нашим левобережьем и дивными на нем соборами и церквями... Дышится и думается здесь глубоко. Родина святым духом кормит...

— А в Москве как?

— А в Москве тяжело. Знобит душу...

И тут впервые я услышал от него грустные сетования на возраст, на усталость, на возникающую уже «непослушность» слова. Да, впервые я услышал такие сетования друга и, конечно, пожалел его, обремененного сверх всякой меры заботами жизни и творчества. Он — верный выразитель всероссийской боли и народной правды, потому и тяжело ему, скупому на откровенность. И помочь ему невозможно: почти постоянное несовпадение духовных величин лишь раздражает его.

— Вот говорят: молчаливое большинство, — начал вновь горячиться. — А кто оно, что оно? Молчаливое большинство — это контуженный ум народа, душа его, запекшаяся от вранья, горя и разорения. Что ни новая политика, то опять кривой путь и всегда чье-то беспо-

щадное своекорыстье. Кажется, близок конец и нашему русскому терпению...

Помолчал и хмуρο взглянул в меня: — Нас может спасти лишь Святое Провидение...

— Это же великая тайна,— замаялся я.— Святое Провидение!.. Ведь Оно непредставимо...

— Однажды Оно и спасло меня.

— Как это? — изумился я.

— А вот так. Приехал в Тимониху и решил порыбачить. Дело было в конце сентября. Вода в озере студеная. Глубина до двух саженей. Дно илистое. И все-таки я отчалил на лодке-долбленке ставить сетку. Отъехал от берега метров на четыреста, на знакомое рыбное место. Воткнул в дно длинный шест и стал от него двигаться, выбрасывать мерёжу. Так увлекся, что в азарте сильно накренил лодку. Она зачерпнулась. Я опрокинулся на другой борт, чтобы выравнять положение, но тут увидел, что лодка захлестнулась водой с обеих сторон и пошла ко дну.

Я в фуфайке, в ватных штанах, в охотничьих сапогах. Одежу не скинуть с себя. Уже по горло в воде. Вдруг лодка перевернулась вверх дном и запуталась в сетке. Я понял, что погибаю. Кричать бесполезно: до берега далеко, людей там нет, ольшаник скрывает и мою деревеньку.

Так ужаснулся я, что не почуял даже, что леденею в черной воронке. Она крутит и тянет ко дну. Все, конец...

И тут в брызгах вспыхнул какой-то светлячок. Я, захлебываясь, вскинулся из-под воды. Да, что-то светлое манит. Из последних сил потянулся туда. Светлячок оказался ребристой заклепкой на брюхе лодки, и я ухватился пальцами.

И тут — надо же такому случиться — из пучины выскочило уроненное весло и ткнулось мне в живот. Я судорожно схватил его и оседлал перевернутую лодку. Оседлал ее, отдышался и потихоньку начал грести. Не знаю, как долго это длилось. От обморока всего трясло, сводила судорога, а лицо пылало, что в горячке...

Наконец-то, берег! Сунулся в грязь, в кочкарник, пополз к чёмине, ну, к сухой бережине, выполз на нее, еще не веря, что жив. Приподнял голову — а надо мной меж туч, смотрю, вдруг посветлело, развиднелось,

а с бугра и деревенька глянула на меня радостными окошками.

И я, счастливый, упал на колени и стал креститься и громко твердить «Отче наш...» Да, меня спасло Святое Провидение...

Потрясенный этим признанием Василия Ивановича, я не знал, что и вымолвить. Лишь почувял, как широко окатило теплом и мою душу.